



## АВТОБИОГРАФИЯ

Автобиографии писать трудно. Особенно для книги. Потому что здесь биография всегда выглядит как подведение каких-то итогов. И всегда представляешь себе такого умудренного опытом, седовласого старца, который хочет на своем примере учить других.

Говорю заранее: то, что я пишу, — ни в коем случае не подведение итогов. И я не умудрен жизненным опытом. Даже как-то наоборот. Каждый новый день удивителен и неповторим. И самое главное, самое важное, что к этой удивительности нельзя привыкнуть.

И потом биография любого человека всегда связана с биографией страны. Связана необычно прочно. И порой бывает очень трудно выделить что-то сугубо личное, свое, неповторимое.

Автобиографию писать трудно еще и потому, что вся она (или почти вся) в стихах. Плохо ли, хорошо ли, но поэт всегда говорит в стихах о себе, о своих мыслях, о своих чувствах. Даже когда он пишет о космосе.

Итак, автобиографию писать трудно. Так что, возможно, у меня ничего и не выйдет. Но... рискну.

Я родился в 1932 году в селе Косиха Алтайского края. Это в Сибири, довольно близко от Барнаула.

Мать у меня — врач, отец — военный. Мы переехали в Омск — большой город на берегу Иртыша. С этим городом связаны мои самые первые детские впечатления. Их довольно много. Но самое большое — война. Я уже окончил первый класс школы и в июне сорок первого жил в пионерском лагере под Омском.

Отец и мать ушли на фронт. Даже профессиональные военные были убеждены, что «это» скоро кончится. А что касается нас, мальчишек, так мы были просто в этом уверены. Во всяком случае, я написал тогда стихи, в которых, помню, последними словами ругал фашистов и давал самую торжественную клятву поскорее вырасти. Стихи были неожиданно напечатаны в областной газете (их туда отвез наш воспитатель). Свой первый гонорар (что-то около тринадцати рублей) я торжественно принес первого сентября в школу и отдал в Фонд обороны. (Наверное, это тоже повлияло на благоприятный исход войны.) Клятву насчет вырасти было выполнить довольно сложно. Вырасталось медленно. Медленнее, чем хотелось. Война затягивалась. Да и росла она вместе с нами. Для нас, пацанов, она была в ежедневных сводках по радио, в ожидании писем с фронта, в лепешках из жмыха, в цветочных клумбах на площади, раскопанных под картошку.

А потом — уже в конце — она была еще и в детских домах, где тысячи таких, как я, ждали возвращения родителей. Мои — вернулись. Точнее — взяли меня к себе.

Были бесчисленные переезды с отцом по местам его службы. Менялись города, менялись люди вокруг, менялись школы, в которых я учился. Стихи писал все это время. Никуда не посылал. Боялся. Но тем не менее читал их на школьных вечерах, к умилению преподавателей литературы. Узнал, что в Москве существует Литературный институт, мечтал о нем, выучил наизусть правила приема. После школы собрал документы, пачку стихов и отослал все это в Москву.

Отказали. Причина: «творческая несостоятельность». (Между прочим, правильно сделали. Недавно я смог посмотреть эти стихи в архивах Литинститута. Ужас! Тихий ужас!)

Решил махнуть рукой на поэзию. Поступил учиться в университет города Петрозаводска. Почти с головой ушел в спорт. «Достукался» до первых разрядов по волейболу и баскетболу. Ездил на всяческие соревнования, полностью ощутил азарт и накал спортивной борьбы. Это мне нравилось. И казалось, что все идет прекрасно, но... Махнуть рукой на стихи не удалось.

Со второй попытки в Литературный институт я поступил. И пять лет проучился в нем. Говорят, что студенческая пора — самая счастливая пора в жизни человека. Во всяком случае, время, проведенное в институте, никогда не забудется. Не забудется дружба тех лет. Лекции, семинары. И поездки. Снова — очень много поездок. Так, например, мне посчастливилось побывать

на Северном полюсе, на одной из наших дрейфующих станций.

С какими парнями я познакомился там! Без всякого преувеличения — первоклассные ребята! В основном — молодые, умные, очень веселые. Работа зимовщиков трудна и опасна, а эти — после работы вваливались в палатки, и оттуда еще долго шел такой громохочущий смех, что случайные белые медведи, которые подходили к лагерю, безусловно, шарахались в сторону.

Станция состояла из девяти домиков. Стояли они на льдине, образуя улицу: четыре с одной стороны, пять — с другой. Я помню общее собрание полярников, — очень бурное и длинное: на нем самой северной улице в мире давалось имя. Можете представить, что это было за собрание! Хохотали до слез, до хрипоты, до спазм. Хохотали не переставая. Юмор проснулся даже в самых сдержанных и суровых «полярных волках».

Какой-то остряк-летчик привез из Москвы номера, которые вешаются на домах в столице. Потом авиационный штурман с помощью каких-то хитрых приборов точно определял, какая сторона улицы является четной, а какая — нечетной. Номера были торжественно прибиты к домикам, и на каждом из них мы написали название улицы: «Дрейфующий проспект». Так я и назвал одну из своих книжек. Их у меня вышло десять начиная с 1955 года. Я писал стихи и поэмы. Одна из поэм — «Реквием» — особенно дорога мне.

Дело в том, что на моем письменном столе давно уже лежит старая фотография. На ней изображены шесть очень молодых, красивых, улыбающихся парней. Это — шесть братьев моей матери. В 1941 году самому младшему из них было 18 лет, самому старшему — 29. Все они в том же самом сорок первом ушли на фронт. Шестеро. А с фронта вернулся один. Я не помню, как эти ребята выглядели в жизни. Сейчас я уже старше любого из них. Кем бы они стали? Инженерами? Моряками? Поэтами? Не знаю. Они успели только стать солдатами. И погибнуть.

Примерно такое же положение в каждой советской семье. Дело не в количестве. Потому что нет таких весов, на которых можно было бы взвесить горе матерей. Взвесить и определить, чье тяжелее.

Я писал свой «Реквием» и для этих шестерых, которые до сих пор глядят на меня с фотографии. Писал и чувствовал свой долг перед ними. И еще что-то: может быть, вину. Хотя, конечно, виноваты мы только в том, что поздно родились и не успели участвовать в войне. А значит, должны жить. Должны. За себя и за них.

Вот, собственно, и вся биография. По-прежнему пишу стихи. По-прежнему много езжу. И по нашей стране, и за рубежом.

Могут спросить: а для чего поездки? Зачем они поэту? Не лучше ли, как говорится, «ежедневно отправляться в путешествие внутри себя»? Что ж, такие «внутренние поездки» должны происходить и происходят

постоянно. Но все ж таки, по-моему, их лучше совмещать с поездками во времени и пространстве.

Относительно годов, которые «к суровой прозе клонят». Пока не клонят. Что будет дальше — бог его знает. Хотя и бог не знает. Поскольку его нет.

Я женат. Жена, Алла Киреева, вместе со мной окончила Литературный институт. По профессии она — критик. (Так что вы можете представить, как мне достается! Вдвойне!)

Что еще? А еще очень хочу написать настоящие стихи. Главные. Те, о которых думаю все время. Я постараюсь их написать. Если не смогу, будет очень обидно.

— *Роберт Рождественский,*  
1980-е







Большое спасибо  
ей  
за то, что мяла меня!  
Наделила мечтой богатой,  
опалила ветром сквозным,  
не поверила  
бабьим картам,  
а поверила  
ливням грибным!

## СЫН ВЕРЫ

*Ю. Могилевскому*

Я —  
сын Веры...  
Я давно не писал тебе писем,  
Вера Павловна.

Унесли меня ветры,  
напевали мне ветры  
то нахально,  
то грозно,  
то жалобно.

Я — сын Веры.  
О, как помогла ты мне, мама!  
Мама Вера...  
Ты меня на вокзалах пустых обнимала,  
Мама Вера.  
Я —  
сын Веры.



Я —

сын веры в земную любовь,  
ослепительную, как чудо.

Я —

сын веры в Завтра —  
такое,

какое хочу я!

И в людей,

как дорога, широких!

Откровенных.

Стоящих...

Я —

сын Веры,

презираю хлюпиков!

Ненавижу плаксивых и стонущих!..

Я пишу тебе правду,

мама Вера,

Пишу только правду...

Дел — по горло!

Прости,

я не скоро

вернусь обратно.

## ТВОРЧЕСТВО

*Эрнсту Неизвестному*

Как оживает камень?  
Он сначала  
не хочет верить  
в правоту резца...

Но постепенно  
из сплошного чада  
плывет лицо.

Верней —  
подобие лица.

Оно ничье.  
Оно еще безгласно.  
Оно еще почти не наяву.  
Оно еще  
безропотно согласно  
принадлежать любому существу.



Ты сумеешь.

Я жить хочу!

Я начинаю

жить.

Поверь в меня светло и одержимо.

Узнай!

Как почку майскую, раскрой.

Узнай меня!

Чтоб по гранитным жилам

пошла

толчками

каменная кровь...

Поверь в меня!..

Высокая,

живая,

по скошенной щеке

течет слеза...

Смотри!

Скорей смотри!

Я открываю

печальные

гранитные глаза.

Смотри:

я жду взаправдашнего ветра.





\* \* \*

Люблю картины старых мастеров.

Не верю я

в разгадку их секретов.

На нас,

как будто из иных миров,

глубокие глаза

глядят с портретов.

Художник, —

то ликуя, то скорбя, —

неведомо, зачем

холсты марает..

А я смотрю, как в самого себя.

А я смотрю, и сердце замирает.

Великих красок чистая игра —

как исповедь,

как солнце над горами.

Идут века,

но эти

мастера



\* \* \*

Говорила мама:

«Сынок,

уймись!

Чего тебе все

нейметя?..»

Говорила мама:

«Делом займись...

Когда ж ты это

делом

займешься?..»

Дело мое, дело —

маета моя.

Мой восторг.

Мое любопытство.

Давняя усталость.

И крепкая шлея.

Торжество мое.

Моя пытка.

Может быть, и вправду  
резона  
нет  
выводить  
корявые буковки.  
Может, где-то рук моих  
дожидается нефть  
с краю  
от читательской публики.  
Пусть бы  
где-нибудь у серьезной реки  
бригадир,  
бровастый, как демон,  
по ранжиру выстроая  
крутые матюги,  
учил бы меня  
заниматься делом.

Это — не кокетство.  
Совсем не то.  
Не буду я  
ни для кого обузой...  
Но уже проверил:  
никогда и ни за что  
дело мое  
меня не отпустит.



## У БУКИНИСТА

Парень волнуется:

— Это безумье!

Ты поступаешь

бесстыдно и нагло!

Если бы это была инкунабула,

я бы, конечно, не спорил о сумме...

Все это

издано-переиздано.

Переработано.

Перетасовано...

Что же

в твоём переплете

особого?

Вечные прописи...

Старые истины... —

А букинист

очки поправляет.

И, —

покачав головою седою, —





\* \* \*

*Савве Бродскому*

Я богат.  
Повезло мне и родом  
и племенем.  
У меня есть  
Арбат.  
И немножко свободного времени...  
Я  
подамся  
от бумажных  
запутанных ворохов  
в государство  
переулков,  
проспектов  
и дворишков.  
Все, что я растерял,  
отыщу в мельтешении радужном.  
Где витой канделябр  
и бетонные глыбины —  
рядышком.







## ПЕРЕД ГРОЗОЙ

В природе это действие так рождалось:  
сначала небо в стороны раздалось.  
Оно раздвинулось неотвратимо  
и место для грозы  
освободило.

Померкло солнце.

Птицы не взлетали.

Захлопали калитки, двери, ставни.

Все было зыбким.

Все тревожным было.

А туча на глазах себя лепила  
из ничего!

Из призрачного света.

Из узловатого слепого ветра.

Из сумеречной тени над болотцем,  
из темноты,

укрывшейся в колоде,

из мглы,

из пыли черной и летучей —

все в дело шло!  
Все становилось тучей,  
которая торжественно жирела,  
клубилась,  
разбухала,  
тяжелела.  
Бурчала что-то, душу распаляя...  
Повисла  
над домами и полями.  
Уперлась в землю.  
Горизонт прогнула...  
И первой молнией  
весь мир  
перечеркнула!